

Вера Панова

Спутники (фрагмент)

Часть первая

Ночь

Глава первая

Данилов

Не спалось. Данилов встал. Отдернул плотную занавеску и опустил окно. Тяжелая рама бесшумно скользнула вниз. Все в этом поезде было добротное, хорошо пригнанное, долговечное. Приятно взяться за любую вещь.

Ветер влетел в окно. Небо и поля были пепельно-светлые, без красок. Белая ночь, Очень тихо.

Лето в этом году пришло поздно и не было похоже ни на одно другое лето. Днем солнце палило, как на юге, а ночи были холодные. Данилов озяб, стоя у окна. Может быть, он стоял очень долго? Он не знал, долго или нет

Он надел галифе и сапоги. Эта толстуха в белом сборчатом берете опять поставила ему на ночь ковровые туфли. Прекрасный был бы вид: галифе с дудками до щиколоток и ковровые туфли. Интересно, мужа своего она одела бы так?

Он не сделал ни одной уступки ночному времени. Надел гимнастерку и аккуратно затянул скрипучий холодный ремень. И взял фуражку.

Кто-то должен подавать пример команде, черт бы побрал начальника.

В коридоре штабного вагона пепельно светились широкие окна. Пусто. Тихо, по-ночному сиротливо. Небо и поля плыли назад, светлые, без красок. Спит ли начальник? Данилов отодвинул бесшумную дверь купе, взглянул: начальник спал полураздетый, в брючках, в носках, по-детски поджав короткие ножки. Руки его были сложены ладонями и прижаты к подбородку, как будто начальник молился.

Рядом отворилось купе. Ординатор Супругов вышел в коридор, на нем был синий госпитальный халат и ковровые туфли.

– Вы тоже не спите, Иван Егорыч?

– Нет, я спал.

Он солгал, потому что ему не хотелось ни в чем походить на Супругова. Если Супругов не спит, значит он, Данилов, должен спать. И наоборот.

– Я уже выспался. А вы?

– Мне, знаете, что-то не спится. Непривычная обстановка, должно быть, действует.

– Почему же непривычная? Едем в поезде, и все.

– Да куда едем? – хихикнул Супругов. Отвратительная у него эта манера – хихикать. Хорошие люди улыбаются или смеются громко.

– К фронту едем, товарищ военврач.

С высоты своего прекрасного роста Данилов рассматривал Супругова. Дрейфишь, дрейфишь, доктор. Это тебе не в кабинете пациентов принимать: «Вздохните глубже. Вздохните еще раз...»

– Можем попасть в переплет, как вы думаете?

– Что же, мы лучше других, что ли? Очень просто можем попасть в переплет.

Супругов поднял робкие глаза. Золотой зуб Данилова блестел в пепельном свете ночи. Супругов сделал строгое лицо.

– Я не понимаю, – заговорил он другим тоном, быстро и раздраженно. – Такой поезд пускать на фронт – это вредительство. Фаина говорит, от первого разрыва все окна вылетят.

– Какая Фаина?

– Старшая сестра.

– Ее зовут Фаина? – забытый запах исходит от этого имени, запах мокрых, тяжелых и нежных женских волос. Фу ты, нашел, что вспоминать. Это было почти четверть века назад. Да, двадцать два года. У старшей сестры волосы стриженные и завитые бараном. Туда же – Фаина.

– Это определенно вредительство, – сказал Супругов и сокрушенно закурил.

– Что вы предлагаете? – скулы Данилова дрогнули. Если бы Супругов всмотрелся, он увидел бы ярость в его светлых глазах. Но Супругов был занят папиросой, которая почему-то потухла, – должно быть, гильза была рваная.

– Повернете стоп-кран? Пошлете молнию наркомому: «Заступитесь за вагоны, их гонят под бомбы»?

Супругов понял, что над ним издеваются. Он ужасно обиделся. В конце концов, он не санитар, он военный врач.

– Я ничего не предлагаю. Но я могу иметь свое мнение. Я так же, как и вы, еду на верную гибель.

– Вы думаете?... Ну что же, пока мы еще не погибли, я, с вашего разрешения, схожу проверить команду и посты.

Посасывая папиросу, которая опять потухла, Супругов смотрел Данилову вслед. Молодцеватая у комиссара выправка. Супругову стало неловко за свой халат. Он сам виноват, конечно. Не надо набиваться на частые разговоры. С Фаиной, вообще с девушками еще туда-сюда. Но с комиссаром – ни в коем случае. С таким надо держать ухо востро.

В команде были открыты все окна с правой стороны, и все-таки было душно. Быстро обжили вагончик. У девушек над полками висели зеркальца, куколки и карточки милых. Не завели бы клопов за карточками милых. Придется проследить.

С краю внизу спала Лена Огородникова, смешная маленькая женщина, похожая на мальчишку, который помалкивает, а про себя затевает какое-то озорство. У нее и во сне было такое лицо, словно ее сместили. Зеркальце в форме палитры поблескивало у нее над изголовьем. Мальчишка, значит, тоже смотрится в зеркало. Против Лены, разметав могучие руки, бурно дышала и всхрапывала Ия, – дадут же любящие родители такое имя дочери. Молодцы девушки, – все как одна в мужских трикотажных рубашках или майках; в женской сорочке ни одной. Третьего дня он застал Ию спящей с оголенными плечами; растолкал и дал внеочередной наряд. Что за распушенность. Девушка должна быть стыдливой.

Вагоны были готовы к приему раненых. Койки с синими байковыми одеялами щеголевато заправлены. На несмятых подушках – полотенца, сложенные треугольником.

Пахло серой, щелоком, лаком и тем неуловимым, безыменным запахом, который присущ вагонам и вокзалам и не уничтожается ни окраской, ни дезинфекцией.

Эти обыкновенные «жесткие» вагоны предназначались для легкораненых. В каждом дежурил боец. Стоило стукнуть дверью, и навстречу двигалась темная фигура с винтовкой, с огоньком папиросы во рту.

Курить в вагонах запрещено, но Данилов не сделал замечания ни одному дежурному. Человек – не машина. Поезд шел

к фронту, как знамя нес свой красные кресты. Никто в поезде не надеялся, что эти кресты послужат им защитой. Каждый знал, что именно по красным крестам и будет бить враг.

В девятом вагоне дежурил Сухоедов, низкорослый человек с квадратными плечами и большой головой без шеи. Он был старше всех в поезде, кроме начальника. Данилов знал, что Сухоедов в свое время бил Юденича, в финскую кампанию пошел на фронт добровольцем и был ранен. 22 июня, в день объявления войны, явился на призывной пункт и потребовал, чтобы его направили в действующую армию. Ни по годам, ни по здоровью он не подходил для строевой службы. Его послали в санитарный поезд. Вид у него был горько обиженный, словно его обошли наградой. В мирное время он работал на подмосковной шахте. В морщины его лица въелась угольная пыль. Детски лазоревыми казались на этом лице ясные голубые глаза.

Сухоедов стоял у окна и не пошел навстречу Данилову, только на секунду повернул голову и поманил пальцем. Данилов подошел. Вид у Сухоедова был необычный. Ни обиды, ни горечи. Вид охотника, идущего по следу зверя.

– Вон он где, видишь ты? – тихо спросил он.

На горизонте, за низкой темной полоской далекого леса, шевелился какой-то свет. И вдруг шагнул в небо луч прожектора и задвигался влево и вправо, неторопливый, беззвучный, неяркий. И другой луч шагнул откуда-то сбоку, лучи скрестились, замерли на мгновение и разошлись, шаря в небе.

– Его ищем! – сказал Сухоедов строго. – Ты ничего не слышишь?

– Ничего не слышу.

Сухоедов помолчал, вслушиваясь.

– Лупит, – сказал он нехотя. – Ох, здорово где-то лупит... – и, вытащив из кармана кисет, стал скручивать папироску.

– Куришь? – спросил он, протягивая кисет Данилову.

– Нет, не курю.

– Это, между прочим, правильно, – сказал Сухоедов. – От табака нападает по утрам такой кашель – не дай бог. И на фронте тому, кто не курит, в два раза легче: целая громадная забота с плеч – не думать о табаке. Ты не приучайся. Приучишься – конец.

Данилов усмехнулся.

– Тридцать восемь лет прожил – не соблазнился; теперь уж не закурю.

Сухоедов ребячески удивленно поднял брови:

– Да неужели тебе тридцать восемь?

– Тридцать девятый весной пошел.

– Молодо выглядишь, – задумчиво сказал Сухоедов, разглядывая Данилова. – Я бы тебе тридцать дал, ну – тридцать два от силы. Жизнь, что ли, легкая была?

– Легкая или нет – не знаю, – ответил Данилов, – но хорошая была жизнь у меня, я таких жизней еще штук сто бы прожил и не устал.

Они помолчали. И странно сказал Сухоедов:

– Тебя не убьют.

Лучи за окном опять скрестились, стали неподвижно, косым крестом.

Данилов и сам знал, что его не убьют. Не может его жизнь так вот просто взять и оборваться. Все только начато, ничто не закончено. Только отложено на время. Кончено только с Фаиной. А может, – чем черт не шутит, – и ее когда-нибудь – он еще повстречает. Станет перед ним, выгнув спину, закинув голову, встряхнет тяжелыми мокрыми волосами... «Расчеши их, Ваня», – скажет... Глупости, ребячий вздор, в котором никому нельзя сознаться, даже себе.

За вагонами для легкораненых шел вагон-аптека. Почему он так назван – неизвестно. Аптека занимала в нем маленькое купе. Остальные помещения были приспособлены под перевязочную, душевую и вентиляционную. В служебном купе стоял письменный стол для медицинского секретаря. Такая должность была в списке персонала. Человека с этим знанием в поезде не было. Данилов не знал, что должен делать медицинский секретарь, и никто не знал; поэтому при укомплектовании штата Данилов попросту никого на эту должность не назначил.

Вагон-аптека был любимым вагоном Данилова. Он с первого взгляда влюбился в его белизну, никель, линолеум, в герметические двери, в откидные столики и стулья, прилаженные к стенам. Чистота и удобство были страстью Данилова. Он относился к любимому вагону ревниво. Платком тер оконные стекла – нет ли пыли. Аптекарьша в первый же день ухитрилась пролить йод на голубовато-белый, только что выкрашенный стол. Данилов, увидев

пятно, побледнел от огорчения. Клава Мухина, санитарка, сбивалась с ног, поддерживая эту невозможную, стерильную чистоту, которой требовал комиссар.

И сейчас Клава была в душевой. Стоя у стола, низко наклонив темно-рыжую голову в чалме из марли, она собирала в оборку бинт. Окна были занавешены, горела лампочка.

– Что вы делаете? – спросил Данилов.

Она повернула к нему белое, в крупных веснушках, доброе и сонное лицо.

– Абажур, – сказала она с усталым вздохом.

– Еще один? На лампочку?

– Нет. На точку.

– На какую точку?

– Душевую.

Она была сонная и объясняла невнятно, но он понял, и ему понравилась затея.

– Ага! – сказал он. – Когда душевые точки не действуют, на них надевают абажуры, чтоб было красиво, так?

– Да, – отвечала она, – только жалко, что марля. Лучше шелк. Голубой или розовый.

– Да, конечно, шелк лучше, – усмехнулся он. – Но шелка, Клава, нет. А бинт можно покрасить синькой – будет голубой.

– А то еще, знаете, если бы красные чернила, – сказала Клава и доверчиво посмотрела ему в лицо. – Развести водой – будет розовая краска.

– Купим красных чернил, – обещал Данилов. – До первого магазина доберемся – сейчас же купим.

Рыжая девочка развеселила его. Он шел гремучими переходами и улыбался.

Кригеровские вагоны для тяжелораненых: никаких перегородок, просторно, как в палате. Белая краска. Три яруса подвесных коек с каждой стороны. Висячие шкафчики. Шезлонги. Здесь чувствовался госпиталь. Почему-то хотелось поскорее пройти мимо этих подвесных коек с боковыми сетками, как у детских кроватей.

И вот хвостовой вагон-изолятор, простой вагон, в конце которого помещается электростанция. Сюда и направлялся Данилов, здесь была главная цель его обхода, здесь он чуял беду.

Дежурного в изоляторе он не встретил.

Он постоял у двери электростанции: голоса, но ничего не слышно толком, мешает шум колес. В общем, тише, чем он думал.

Он отворил сразу. Никто не испугался, встал только дежурный боец Горемыкин, остальные продолжали сидеть. Кравцов, машинист электростанции, передвинул папироску в угол рта, шлепнул картой по столу и сказал:

– Бью и наваливаю.

– Врешь, трефы козыри, – сказал вагонный мастер Протасов и тоже положил карту.

Молодой электромонтер Низвецкий вдруг сконфузился и встал.

Эти все, кроме Горемыкина, были специалисты высокой квалификации – самый трудный народ. А Кравцов, кроме того, был вольнонаемный.

– Бутылочек ищете, товарищ комиссар? – сказал Кравцов, наблюдая Данилова. – Не трудитесь, бутылочки – тю-тю!

Он махнул рукой. Веки у него были красные, взгляд мутный.

Данилов сел на табурет и задумался. И специалисты замолчали, глядя на него, лица их стали озабоченными и серьезными. Горемыкин, за спиной Данилова, крадучись, виновато вышел, бережно прикрыл дверь... С Горемыкиным все ясно. С Горемыкиным – известный разговор. И этих трех он, Данилов, мог бы арестовать. Нарезались сукины дети. Он еще днем, в Вологде, подметил, что они бегали и шушукались... Арестовать не долго. А дальше что?

– Сдай-ка, ну! – сказал Данилов встревоженному и бледному Низвецкому. – В подкидного дурака сдай.

Он сыграл с ними партию вдумчиво и истово, внимательно следя за игрой, приоткрыв маленький высокомерный рот, в котором блеснул золотой зуб. Выиграл и встал.

– Вот так играть надо. Довольно, или танцы до утра?

Кравцов и Протасов хмуро молчали. Низвецкий сказал неуверенно:

– Да нет, поспать надо.

– Ну, пойдём, – сказал Данилов.

Низвецкий шел за ним по вагонам, тоскливо ожидая разговора. Данилов молчал и не оглядывался. Он отворял двери – Низвецкий закрывал их. Громыхали колеса на переходах. Уже настоящая ночь накрыла мир, небо вызвездило, скоро утро.

В вагоне-аптеке Клава, сонно сопя, примеряла на душ абажур из оборочек.

– Смотри, что она придумала, – сказал Данилов Низвецкому. – Уют наводит. Погоди, она тут наделает такое голубое и розовое... Слушай! Я хочу здесь сделать радиоточку. Раненый придет на перевязку, посидит тут, послушает. Займешься?

– Можно, – пробормотал Низвецкий.

Данилов оглядывал его. Интеллигентный вид у парня, одет чисто, видно, что привык носить хорошую одежду.

– Что у тебя? – спросил он. – Почему тебя не взяли в строй?

– Геморрой, – отвечал Низвецкий, густо краснея.

Данилов удивился.

– Смотри, какую нажил стариковскую болезнь! А хотел бы в строй?

– Я шесть лет служил в поезде. Москва-Владивосток, – сказал Низвецкий, волнуясь. – Я бы мог продолжать там служить, меня никто не трогал. Я сам попросился в санитарный поезд. Чтобы хоть чем-нибудь...

– А в санитарном поезде, – сказал Данилов, – дисциплина не меньше, чем в строю. И даже так я тебе скажу, что можно фронтовому человеку, то нам нельзя. Мы должны быть ангелы. Херувимы и серафимы, да. Мы – братья и сестры милосердия... Этой водки, будь она проклята, – сказал он тихо и страстно, сжав кулаки, – не будет в поезде в самое ближайшее время, я тебе ручаюсь.

Еще двух недель не было, как шла война, а казалось, что она длится годы.

Утром 22 июня Данилов проснулся поздно и рассердился на жену: почему не разбудила. Ему хотелось провести этот день с сыном. И чтобы день был большой, чтобы и он и сын насладились им. А жена пожалела разбудить и сократила праздничный, такой редкий отдых.

Сын влез на кровать, уселся верхом ему на ноги, – плюшевоголовый, в белом костюмчике, в синих носках. Солнце лежало на вымытом желтом полу. Настоящее лето только началось, а уже был загар на щеках и на ножках сына.

– Папа, мы пойдем?

Он обещал сыну прогулку. Обещал рано встать и сразу же идти. Из-за жены он проспал. Мальчишка мучался все утро. Мальчишка усомнился в отце.

– Пойдем, сын, вот только перекусим чего-нибудь и сейчас же пойдем.

– Ой, зачем ты чистишь зубы, – говорил сын, стоя около него, – ведь ты сегодня не пойдешь в трест.

Пока жена готовила завтрак, Данилов вышел в огород. Второй год он с женой жил в городе, он был директором треста, а жена все не могла привыкнуть покупать овощи в магазине и сажала свой. Для картошки и капусты земли возле дома не хватало, картошку и капусту она сажала где-то за городом. Она ездила туда поездом полоть и поливать. Руки у нее были темные, крестьянские. Данилов говорил:

– Все жадность, готова в могилу себя загнать, лишь бы не переплатить лишнюю копейку.

А она отвечала:

– Как же без своей картошки?

Но в это утро вид зеленых грядок был приятен Данилову. Он ходил между ними и смотрел, как развилась помидорная рассада, скоро ли можно будет рвать салат, а сын садился на корточки и спрашивал:

– Как ты думаешь, редиска уже есть? Вот в эту минуту он запомнил себя и сына, как на фотографии: он, Данилов, стоит между грядками, небо солнечное, мирное и радостное, и сын сидит на корточках и спрашивает:

– Как ты думаешь, редиска уже есть?

Это была последняя минута прежней жизни, с сыном, с воскресным отдыхом, с ленивыми мыслями о прогулке и пироге.

На крыльцо выбежала жена:

– Ваня, война. Молотов говорит...

Он вбежал в дом. Радио договаривало слова, не оставляющие сомнений. Радио замолчало. Данилов поднял голову. Все стало другим. По-другому светило солнце. Другим стал его дом. Другое лицо было у жены. Та минута покоя и созерцания ушла на годы назад. Все полетело и помчалось куда-то следом за его мыслями.

– Папа, а мы пойдем все-таки? – спросил сын.

Сыну было четыре года.

– Нет, – ответил Данилов, и сын заплакал...

В тот день Данилов разобрал свои бумаги, написал письмо отцу, сходил на почту и отправил старику денег.

Среди старых писем попался измятый конверт, из него торчали уголки фотографической карточки, – он не вынул карточку, бросил, не поглядев, на дно ящика.

Ночью жена плакала, тихо, чтобы не потревожить его. Он делал вид, что спит.

Она поймала какое-то его движение, приподнялась, сверху взглянула ему в лицо:

– Ведь тебе бронь дадут, Ваня?

Он отвернулся. Вопрос был решен утром, когда говорило радио. Завтра он пойдет в военкомат. А ей – меньше всего дела. Она – десятая спица в колеснице.

Наутро ему принесли повестку. Что ж, тем лучше. Не станут говорить, что он выскакивает. Пошел по мобилизации – и все.

В военкомате Данилова направили к Потапенке. Потапенко был приятель, директор санатория. В военной форме, наголо остриженный и помолодевший, он сидел за пустым столом, кругом толпились штатские люди. И хотя эти люди только что пришли и хотя все окна были открыты настежь, но в комнате уже так накурили, что дышать было нечем.

Потапенко протянул Данилову пухлую теплую руку.

– Эге, пришел. Бронироваться будешь?

– Нет.

– Ладно, обожди, – сказал Потапенко.

Совсем не обязательно было, чтобы Данилов так долго ждал, Потапенко принял раньше даже тех, кто пришел позже, – но Данилов понимал: Потапенко хотел перед ним покрасоваться. Ему было приятно, что вот Данилов еще в штатском и дожидается, а он, Потапенко, уже в военном и к нему приходят за назначениями и распоряжениями. Бабье, атласно выбритое, с двойным подбородком лицо Потапенки сияло от удовольствия. Он хмурил белесые брови, хотел скрыть сиянье, – ничего не получалось. Наконец он подозвал Данилова.

– Садись, – сказал Потапенко. – Ты в батальоне служил?

– В батальоне.

– Ладно, – сказал Потапенко, записывая в блокнот. – Пойдешь в санитарный поезд комиссаром. Постой, – сказал он, предупреждая возражения Данилова. – Все знаю, что скажешь. А

все-таки пойдешь в санпоезд. Поезд надо формировать. Ты знаешь, как это делается?

– Нет. А ты?

– Я тоже не знаю, – сказал Потапенко. – Не боги жгут горшки, Иван Егорыч.

– Не боги, – согласился Данилов.

– Инструкция есть, вот она. Ты грамотный – прочтешь. Людей бери, каких хочешь, ссориться не будем – некогда.

– Кто начальник?

– Начальника еще нет, – отвечал Потапенко. – Будет и начальник, а ты формируй.

– Где поезд? – спросил Данилов.

Потапенко засмеялся.

– Поезда, брат, тоже нет. Поезд – в вагоноремонтном, еще не выпущен. А ты формируй.

– Есть формировать, – сказал Данилов, вставая.

У выхода он столкнулся с председателем месткома Григорьевым. Запыхавшись, Григорьев нес ему броню.

– Вы эту бумажку пришейте куда-нибудь, – сказал Данилов, – а Меркулову (это был его заместитель) скажите, чтоб вечером был в тресте, я приду сдавать ему дела.

Но в этот вечер он не пришел. Только 26-го дождался его Меркулов, уже получивший от наркомата официальное назначение на пост директора треста, на место Данилова.

Все эти три дня Данилов укомплектовывал штат санитарного поезда. Требовалось много народу: врач-ординатор, военфельдшер, перевязочная сестра, старшая сестра, младшие сестры, санитары, бойцы, кочегары, машинист на электростанцию, электромонтер, проводники, вагонные мастера... Не один Данилов бегал по городу в поисках нужных людей – в городе формировали полсотни санитарных поездов, и в каждый были срочно нужны врачи-ординаторы, сестры, санитары, проводники...

На людей у Данилова был свой взгляд, этот взгляд многим казался странным.

Когда перед ним стоял вопрос: кого выбрать – уверенного, развязного городского фельдшера, шутника и здоровяка, или застенчивую, серенькую деревенскую фельдшерицу с двухлетней практикой, с молодым нервным, болезненным лицом, – он, не колеблясь, выбрал фельдшерицу.

И когда подошла к нему эта страшная, красная, как индеец, горбоносая и подслеповатая Юлия Дмитриевна – перевязочная сестра, – он не испугался, а обрадовался. С первого взгляда он понял: это то, что надо.

Санитаров подбирали из мобилизованных бойцов. Красный крест присылал девушек, окончивших курсы медицинских сестер.

Он приходил в казармы, где на узелках и чемоданах, как на вокзале, сидели и спали люди, и кричал:

– Военфельдшеры – есть? Фармацевты – есть? Кочегары – есть? Товарищи, внимание!! Фармацевты – есть?

И вот к нему подошла маленькая женщина с мальчишеским лицом, задумчиво-плутоватым и смешливым. Голубая майка. Стриженные волосы.

– Вы фармацевт? – спросил Данилов.

– Нет, – отвечала она. – Я учительница физкультуры.

– Физкультуры не надо, – сказал он.

Она засмеялась.

– Я знаю. Я пойду в санитарки.

– Идите вы, – сказал он. – Для этого посильнее нужен народ.

Она опять засмеялась, живо нагнулась, подхватила его под коленки, и он почувствовал, что его подняли над полом. На секунду, но все же подняли.

– Здорово! – сказал он. – Что здорово, то здорово.

Она стояла прямо, дыхание у нее было легкое.

– Как зовут? – спросил он.

– Лена Огородникова.

Труднее всего было получить работников технических специальностей. Электромашинистов и монтеров забирали из-под носа у Данилова. Транспорт не хотел отдавать ремонтных рабочих. «Обойдетесь и так, – говорили Данилову, – все равно отремонтироваться приедете к нам».

Самый поезд еще не вышел из ремонтного завода. Ждали начальника поезда, чтобы принял состав. Военврач Супругов, ординатор, отказался взять на себя такую ответственность.

– Я маленький работник, товарищи, – сказал он.

Был он вежлив, смеялся всякой шутке, навязчиво угощал папиросами. Чувствовалось в нем беспокойство, – видно было, что душа в этом щуплом штатском теле тоскует, не находит себе места.

Обедать и ночевать Данилов ходил домой. Жена встречала его с молчаливой растерянностью. Ему не хотелось ни о чем ей рассказывать. Она видела, что он уже без остатка принадлежит новому своему делу. Так было с совхозом, потом с трестом. Теперь с санитарным поездом. Эта душа никогда не жила дома. Дома для нее существовал только сын. Жена молча подавала Данилову еду, стелила постель. Лицо ее за эти три дня осунулось, стало некрасивым. По ночам она не выдерживала, начинала шептать:

– Меркулову дали бронь, главному бухгалтеру дали, даже Григорьеву – и тому дали...

– Ну? – спрашивал он с притворным хладнокровием, подавляя злость. – Ну, дали, и прекрасно, и что дальше?

– Тебе никого не жалко. Ни меня, ни Ванюшки, никого.

Он отворачивался.

– Довольно, я спать хочу.

Он почти не вспоминал о тресте, захваченный новой работой. 26-го выдались часа два свободных, он пошел сдавать дела Меркулову. Завернул в знакомый переулок. Увидел черную доску с золотой надписью: «Республиканский трест молочных совхозов». Правый нижний угол доски был надтреснут, он был надтреснут еще тогда, когда Данилов пришел сюда принимать дела. Знакомая лестница, щелкают счеты в бухгалтерии, трещит арифмометр. Дверь налево, обитая черной клеенкой... Его дверь. Его трест.

Передав Меркулову дела, он обошел комнаты и попрощался со всеми. Старуха-кассирша заплакала. Ему было приятно, что она плачет. Сморкаясь, она сказала:

– А у нас-то машину забрали, вы слышали? Меркулов завтра выезжает в район поездом, можете себе представить?

Все были огорчены его отъездом, кроме Меркулова. Данилов заметил, что Меркулов рад. Конечно, он рад не тому, что сидит в директорском кресле; не такой это человек. Просто дорвался до самостоятельной деятельности, почувствовал свободу... Неужели он, Данилов, мешал ему?

Из треста Данилов пошел к Потапенке. Около Потапенки стоял старичок лет шестидесяти, что-то, жестикулируя, рассказывал. Увидев Данилова, Потапенко сказал:

– Вот знакомьтесь с вашим начальником поезда. Доктор Белов.

Данилов взглянул на начальника: плохонький! Росту невидного, личико худое. Начальник еще не успел переодеться в военное: брючки, ботиночки, ай-ай-ай! Что с ним, таким, делать?

Вслух Данилов сказал, ободряя старичка:

– Ничего, товарищ начальник, сработаемся!

У начальника с собой был маленький чемоданчик, к чемоданчику привязаны валенки и чайник. Начальник приехал из Ленинграда.

Неожиданно он сказал бодрым, воинственным даже голосом:

– Ну что ж, знаете, ничего не поделаешь – будем воевать!

– Вместе, – сказал Потапенко и с наслаждением посмотрел на Данилова.

– Вот именно, вместе, – сказал старичок.

Данилов позвал его к себе ночевать. Начальник бежал резво, размахивая резиновым плащом, который он нес на молодецки выгнутой руке. Чемодан его, со всеми приложениями, нес Данилов.

– Зачем вы валенки привезли? – спросил он. – Что же вы думаете, нам в армии не выдадут валенок?

– А я, видите ли, никогда не служил, – отвечал начальник, – а показания, знаете, очень противоречивы. Кто говорит – выдадут, кто – не выдадут. А одна дама, знаете, сказала, что валенок не хватит на такую армию, и кому же тогда в первую очередь дадут? Не санитарам, ясное дело. И жена уложила... На всякий случай, а? Будут, знаете, стоять где-нибудь под лавкой, не помешают, а?

– Это конечно, – улыбнулся Данилов.

За ужином начальник с аппетитом кушал, пил и щебетал об архитектуре Ленинграда, а Данилов смотрел на него и думал: «Что мы будем делать с тобой?»

На другой день с утра он пошел договариваться с электромашинистом, – остальные работники были уже набраны, – а начальник отправился на вагоноремонтный завод принимать состав. Предварительно звонили по телефону на завод, в эвакуопункт и на вокзал, и начальник самодовольно сказал Данилову:

– Вы меня найдете на вокзале вместе с поездом.

Данилов пошел на машиностроительный. Накануне он уговорился с директором, что тот отпустит машиниста Кравцова, если сам Кравцов выразит желание служить в санитарном поезде.

Данилов понимал, почему директор так расщедрился. Просто он не прочь освободиться от Кравцова под благовидным предлогом, без скандала. Очевидно, с Кравцовым не все в порядке. Данилов наводил справку в профсоюзе. Там отвечали уклончиво: машинист высокой квалификации, достоин всяких похвал, а так – какой же человек без греха?...

– Он что, выпивает? – спросил Данилов.

– С кем не бывает! – ответили ему.

У дизеля находился помощник; Кравцов завтракал. Он сидел на опрокинутом ящике с бутылкой молока в руке. У него было сухое, изможденное и строгое лицо угодника. Горячий ветер, поднятый дизелем, развеивал седой хохолок над его лбом.

– Ну как? – спросил Данилов. – Согласны в санитарный поезд?

Кравцов поставил бутылку на пол и тыльной стороной ладони вытер губы. Неподкупно-суровым взглядом он рассматривал Данилова.

– В поезд? – переспросил Кравцов. – Я – хоть под поезд! Выручайте меня отсюда, я тут ни одного дня не желаю быть.

– Что так? – спросил Данилов ласково. – Не поладили?

– Знаете что, товарищ комиссар, – сказал Кравцов, – давайте играть в светлую. Я не мальчик. Это понятно?

– Вполне, – сказал Данилов.

– Я обучил всех дизельщиков, сколько их ни есть в городе. Мне этого не надо, чтобы комсомольцы делали мне замечания.

Он встал и вложил маленькие замасленные руки в карманы широких замасленных штанов.

– В стенгазете – Кравцов. На собраниях – Кравцов. Выговор в приказе – Кравцову. Мне самокритики этой не надо. Я вам заявляю откровенно. Орут, что я в пьяном виде попаду под колесо. Я – под колесо! – Кравцов усмехнулся, как Мефистофель. – А спросите у них: была у нас хоть одна, хоть пустяковая авария с энергией?... Вот сейчас как, по-вашему: я выпивши?

– Немножко, – осторожно сказал Данилов.

Кравцов покачал головой.

– Нет, не немножко, а в самую меру, по утреннему времени. И вот – будет перерыв, и они придут меня нюхать и делать свой замечания. Забирайте меня, товарищ комиссар, к чертовой матери, если, конечно, вас устраивают мои условия.

Они посмотрели друг другу в глаза. Взгляд Кравцова был холодно-самоуверенный, и взгляд Данилова был холодно-самоуверенный.

– Я вас забираю, – сказал Данилов.

Закончив дело с Кравцовым, он поехал на вокзал. На дальних путях, около какого-то длинного серого забора, стоял новенький блестящий состав: пятнадцать темно-зеленых вагонов с красными крестами, один товарный и маленький желтый вагон-ледник. Стояла охрана – красноармеец с винтовкой.

Начальник был в штабном вагоне. Он ходил по коридору и гремел ключами. Полупудовая связка ключей висела на его согнутом локте. Солнце било во все окна; пахло нагретой краской. Лицо у начальника было сморщенное, потное и счастливое.

Конец ознакомительного фрагмента

Эту книгу Вы можете взять:

- в отделе абонемента по адресу г. Оренбург, ул. Правды, 7
- в читальном зале нашей библиотеки по адресу г. Оренбург, ул. Советская, 20.

Получить доступ к электронной версии книги Вы можете в электронном читальном зале нашей библиотеки по адресу г. Оренбург, ул. Советская, 20, 2 этаж.